

**В**оронеж — «земля, хотя и не родная, но памятная навсегда». Потребуется время, чтобы эта «насильственная земля» из «чужой» стала «своей». Так уж у нас повелось, что мало кто из людей, родившихся в России в начале XX века, умирал там, где впервые увидел свет. Многим пришлось не единожды менять место своего жительства. И отнюдь не из «охоты к перемене мест», просто — по требованию беспокойного времени. Людей снимали с места катаклизмы века. Одни покидали родные места добровольно, другие по стечению обстоятельств, третьи — по указанию и велению власть предержащих. Войны, большие и малые, коллективизация, ссылки... И даже вузовское распределение входит сюда.

Как бы то ни было, моя судьба оказалась накрепко связанной с этим городом. И теперь уже, скорее всего — навсегда.

На воронежскую землю мне впервые довелось ступить 28 августа 1949 года. В памяти этот день задержался прочно. Раннее августовское утро. Небо ясное, хотя еще по-утреннему бледное. Выхожу из здания старого вокзала на привокзальную площадь. Вокруг ни одного цельного строения. Только развалины. Вместо человеческих жилищ — груды беспорядочных обломков. Выщербленные кирпичи, острые каменные углы, пустые, незрячие оконные проемы. Иногда они грубо заколочены досками.

Возле нижних этажей, похоже, обитаемых, копошатся какие-то люди, кажущиеся неуместными среди этого неживого пейзажа. По площади, тренькая, проходит трамвай. В воздухе — чуть заметное марево. Его, скорее всего, создает пыль от развалин. Безветренно. Но почему-то пахнет яблоками. Ощущение странное — будто очутилась в другом мире. Когда много позже я прочитала роман Г. Казака «Город за рекой» (там действие происходит в царстве мертвых), он мне напомнил мою первую встречу с Воронежем. Открывшееся зрелище не столько напугало, сколько удивило и поразило. Кинохроника военных лет приучила нас к зрелищу развалин. Но ведь то — кино. А здесь воочию. И в красках...

В вагоне сказали: чтобы попасть в университет, надо на трамвае доехать до ДКА (Дом Красной армии, сейчас — Дом офицеров) и вернуться назад. Единственным зданием университета был тогда нынешний «красный корпус» на проспекте Революции. Дребезжащий трамвай везет меня по довольно широкой улице. Домов почти нет. Разрушения колоссальные. Но много зелени. Возле полностью разрушенного здания ЮВЖД — высятся роскошные каштаны и тополя. Мощные стволы, густые кроны, кое-где, правда, с обломанными ветвями. Догадываюсь: снаряды! У подножья деревьев — газон, усаженный разноцветными петуньями. Впечатление южного города. Каштанов я вообще до сих пор не видела. Весной привезу цветущую ветку маме. За время пути она изрядно повянет.

Буйство зелени среди развалин усиливает впечатление странности всего окружающего. Жизнь и смерть оказались в таком воистину символическом соседстве, что впечатление раздваивается: не знаешь, восхищаться красотой природы, или скорбеть по поводу разрушенных человеческих жилищ.

Передвигаясь вдоль улицы в обратную от хода трамвая сторону, наконец, нахожу искомое здание университета. Выглядит весьма неказисто: четырехэтажный кирпичный казарменного вида корпус. Унылый плоский фасад с одинаковыми большими окнами. Не вдохновляет. Правда, перед кирпичным зданием расположился небольшой изящный домик в стиле ампир. Этот радует глаз. Не знаю, кому позже пришло в голову его снести. В городе и так мало что сохранилось от старины...

Вхожу в неказистую дверь, расположенную в правой стороне здания. Темный вестибюль. Спрашиваю про ректорат. Говорят, на втором этаже. Поднимаюсь по удивительно неудобной бетонной лестнице с неровно расположенными ступенями и оказываюсь в большом коридоре. Стены до высоты человеческого роста выкрашены в какой-то невообразимый зелено-грязный цвет. Тусклый свет едва просачивается из находящейся в конце коридора стеклянной двери. Над ней — красное полотнище, на котором белыми буквами написан какой-то официальный лозунг, типа: «Народ и партия едины!». Как в избечитальне, — проносится в голове. В Московском университете мы от такого отвыкли. В неясном свете плавают пылинки. На стенах — стенды с фотографиями университетской самодеятельности.

Интересуюсь, как найти ректора. Мне указывают на стоящего в коридоре с какой-то группой людей еще не старого, коренастого человека. Дожидаюсь, пока они кончат разговор. Робко спрашиваю: «Вы ректор университета?» В ответ недовольно звучит: «Да, только я в коридоре не разговариваю». А я ведь не знаю места, где он «разговаривает». Беспомощно оглядываюсь. Вижу, что он направляется к какой-то двери, плетусь за ним, потеряв всякое присутствие духа и готовая разреветься от жалости к себе. Вхожу сначала в приемную, там сидят какие-то люди. С ними мне еще предстоит познакомиться. Немного подождав, оказываюсь в кабинете ректора — Николая Петровича Латышева. Немногословен и не очень любезен. Но — слава Богу! — деловит. Наскоро проглядывает мои бумаги. Дает распоряжение выдать мне подъемные (весьма кстати!), выделяет комнату в общежитии и распоряжается, чтобы мне дали помощника перевезти с вокзала вещи.



На кафедре литературы ВГУ. Е.П. Андреева, А.Б. Ботникова,  
И.Г. Новикова (слева направо). 1950-е годы

Помощник — молодой парень из хозчасти, охотно берется за порученное. И пока мы совершаем с ним поход на вокзал (он везет двухколесную тележку), сначала представляется мне: его зовут Жора. А потом предлагает: «Выходите за меня замуж. Я из Германии двенадцать чемоданов привез». Заманчивость предложения, меня, однако, не привлекает и не веселит. Хотя в первом же письме я об этом случае напишу в Москву, комизм ситуации пока ощущаю смутно. Хочется остаться одной, оглядеться... Получаю свой скудный багаж. Кроме заимствованного у соседей чемодана, заботливо обшитого мамой в чехол из суровой льняной материи, еще небольшой ящик, отправленный большой скоростью, из тех, что брал с собой дед в свои заграничные путешествия. Он из крепкой фанеры, по краям обит железом и застегнут настоящими кожаными ремнями. Жора помогает втащить ящик в отведенную мне комнату. Вношу чемодан, осматриваюсь.

№ 31 в общежитии № 2. «Колыбель моих печалей», эта комната будет моим обиталищем в первые воронежские годы (года через два меня переведут в общежитие № 1). Большая — в два окна, разделенных простенком. Кажется совершенно пустой, потому что, кроме самодельного фанерного стола, ножки которого скреплены крест-накрест сколоченными досками, да узенькой койки с распатанными пружинами (на них наброшены выдавшие виды матрац и подушка), в ней больше ничего нет. Потом я заведу еще один стол и тумбочку. Под потолком — лампочка без всякого абажура. Уютной эта комната не станет никогда. У меня ведь ничего для этого нет. И денег тоже нет.

Оставшись одна, обливаясь слезами, достаю вещи. Небогатый гардероб вешаю на гвоздь, постельными принадлежностями застилаю койку. У меня с собой несколько книг. Совсем немного. Они занимают узкую поверхность вертикально поставленного ящика. А за окнами — чужой город, наполненный чужими людьми. Никому до меня нет дела... До этого все было иначе. Но надо учиться держать оборону в ситуации: я и другие. Как сложатся наши отношения? Тревожно. Не спится. Ворочаюсь на неудобном ложе с продавленной сеткой...

На следующий день отправляюсь знакомиться с коллегами. Заведующая ка-

федрой доцент Елизавета Павловна Андреева. Мне ее показали еще на Казанском вокзале в Москве. Мы стояли в одной очереди за билетами в Воронеж. Красивое лицо, но холодное и надменное. Подойти не решилась. Оттягивала неизбежное. И вот теперь являюсь на кафедру. Встреча подчеркнута официально. Предлагают познакомиться с записями предшественницы, чтобы выяснить, с какого места читать литературу на старших курсах. Первый начинается с античности. Это ясно. Начало занятий 1 сентября. Легко сказать. Беглое знакомство с библиотекой показало, что почти ничего из нужных мне книг нет. Даже тех художественных текстов, которые должны обязательно изучаться в курсе истории зарубежной литературы. Что же делать? Состояние, близкое к отчаянию.

Первая лекция — первого сентября. Боюсь очень. И сразу незадача. Я приготовила лекцию по 18-му веку; но, согласно записи предшественницы, оказалось, что студенты и к 17-му еще не прикасались. Продолжить с нужного места я еще не в состоянии, поэтому читаю приготовленное с обещанием, что потом мы к этому материалу еще вернемся. Чувствую себя и неуютно, и неуверенно. Студенты смотрят с холодным любопытством, молча, но отстраненно. Среди них есть и мои сверстники. Например, Борис Кривенко. Да и другие не намного моложе. Потом некоторые из студентов этого курса сами станут университетскими преподавателями — Тамара Сивкова (позже Осицкая), Валентин Рахманин, Виктор Золотарев. А пока они студенты, и я должна втолковывать им зарубежную литературу. Я еще плохо это умею. Лекцию накануне готовила «с запасом», рассчитывала, что материала хватит на две. Не тут-то было. За лекционную пару выкладываю все, что приготовила. Как же это, оказывается, трудно и страшно!

Дома предстоящая работа казалась мне гораздо проще. Не думала, что на подготовку потребуется так много времени и сил...

Наверное, в эти первые дни вид у меня был жалкий. Лаборант кафедры — Таисия Александровна Кривцова, молчаливая женщина с хорошим лицом, в перерыве между лекциями приносит мне булку с несколькими кусочками колбасы. Купила в буфете. Воспринимаю это как поддержку, молчаливую ласку, так необходимый мне тогда знак внимания. Этого я никогда не забуду.

Пытаюсь познакомиться с городом, куда забросила меня судьба. Прогуливаюсь в одиночестве, отчасти из любопытства, но больше — чтобы избавиться от неотвязной тоски первых дней. Все кажется странным. Свежий взгляд остро фиксирует детали. Еще на подъезде к городу из окна вагона мне показали место под названием СХИ. Название своей неблагозвучностью сразу резануло по уху. Надо же такое придумать! Сейчас это уже не вызывает прежних эмоций, я, как и все прочие горожане, спокойно пользуюсь этим, вообще-то уродливым словом. Название местной газеты (тогда единственной) — «Коммуна» удивляет своим анахронизмом. В 1949 году это слово уже имело отчетливый привкус недоброй памяти эпохи военного коммунизма, равно, как и позднее возобновленный журнал «Подъём» напоминал о первых годах социалистического строительства. Эта архаика казалась «отдаленней, чем Пушкин».

А еще названия местных улиц. Тоже забавное наблюдение первого воронежского года. Во всех городах огромного Союза были улицы, названные именами вождей пролетариата — Ленина, Маркса, Энгельса. Обязательно была еще Советская... Здесь, конечно, тоже. Воронеж не был исключением, и это было привычно. Надо полагать, что в начале советской власти местные органы получили специальные указания. По моим наблюдениям, однако, власти Воронежа явно отличались особым революционным рвением. Одной из первых увиденных мной улиц была улица Софьи Перовской, потом попались улицы Бакунина, Желябова, Степана Разина... Остатки разрушительной энергии первых послереволюционных лет.

Не удивительно, что, увидев шедший по проспекту Революции трамвай, на котором в качестве конечной станции назначения стояло слово «бекон», решила, что оно означает что-то вроде площади имени Френсиса Бэкона. Об этом даже написала друзьям в Москву, не забыв заметить, что, видно, здешнее руководство не только крайне революционно, но еще и отличается прочными материалистическими взглядами. Потом узнала, что ошиблась. Трамвай следовал по проспекту до нынешнего мясокомбината, тогда в просторечии, а может, и официально именовавшегося «Беконка».

И еще примечательной и нигде, кроме Воронежа, не замеченной мною особенностей местной топографии было обилие календарных дат в названиях улиц. Здесь можно было увидеть и улицу 9 января, и улицу 25 октября, и улицу 23 февраля, 5 декабря и даже 11 мая. Почти весь календарь! На улице 11 мая мне довелось некоторое время даже жить, и так как никто не знал, что это за дата, на вопросы интересующихся я нагло отвечала, что так означен канун моего рождения... Похоже, что городским властям не достало воображения (а может, эрудиции) и они запросто обратились к календарю в надежде, что трехсот шестидесяти пяти дней года с лихвой хватит для переименования всех старых и наименования новых улиц. Увидев еще и улицу 1905 года, я заключила (может статься, и не без оснований), что вдобавок к числам месяцев будут прибавлены еще и годы века. Не говорю уж о таких названиях, как «улица XX-летия ВЛКСМ». Выговорить почти невозможно. Язык заплетается... Совершенно очевидно, что местные власти, занимаясь украшением городской топографии, не заботились ни о благозвучии, ни об удобстве произношения. Краеоведам, наверное, известно имя инициатора или автора таких наименований. Как-то ему жилось потом?

В старой Москве названия улиц были легкими: Плющиха, Палиха, Пресня, Застава... Переулки: Нижне-Тишинский, Скарятинский, Скатертный, Гранатный... А здесь, например, улица Освобождения Труда, или (уже в новое время) — улица 45-й стрелковой дивизии... Попробуй, ответь на вопрос, где ты живешь. «Я живу на улице Освобождения труда» — никто так говорить не будет. Так, видимо, и возникло услышанное мной только в Воронеже и сильно удивившее меня редуцированное произношение уличных названий. В Москве говорили: «на улице Герцена», «на улице Огарева» и т.д. Здесь же действовал закон непонятной мне редукции. Говорили не на улице Коммунаров, а «на Коммунаров», или «на Девятого января». Сначала удивлялась, долго не могла привыкнуть. А сейчас и сама, ничтоже сумняшеся, на вопрос, где живу, отвечаю: «на Лизюкова»...

Главное дело, отнимавшее все время, конечно, работа. Каждый день лекция. Иногда — две. Не до прогулок. В университете не чувствую себя уютно. Кафедра литературы поначалу была совсем небольшая. Заведующая кафедрой Елизавета Павловна Андреева, Сергей Георгиевич Лазутин, чуть позже появились Анатолий Михайлович Абрамов, Нина Васильевна Соколова. Недолгое время на кафедре проработала Ирина Глебовна Новикова. Ну, и я — единственный зарубежник. И, конечно, Таисия Александровна Кривцова — наш многолетний лаборант и мой советчик. Кроме Андреевой, все — выходцы из московской аспирантуры. Наездами бывали два профессора. Сначала Борис Аронович Бялик, потом Петр Григорьевич Богатырев, оба по разным причинам лишившиеся места в Москве. Один, потому что был официально зачислен в космополиты; второй после ареста сына.

Елизавета Павловна Андреева — женщина властная. Пользовалась авторитетом, хотя большой образованностью не обладала. Лицом красивая, с черными, изящно выгнутыми бровями. Мне все время при виде ее приходили на ум брюсовские строки: «Твоих бровей два сумрачных меча, // Изогнутых, как меч у палача...» Я ее боялась. Очень уж неласковая. За глаза называла Madame. Студенты ее тоже боялись, хотя и чтили.

Первые воронежские дни и даже недели вспоминаю и теперь как один из тягчайших периодов жизни, хотя потом были переживания и пострашней. Главное чувство этих дней — абсолютное одиночество. Буквально: «ни друга, ни товарища». И на первых порах ни одного ласкового слова или даже взгляда. К этому времени относится одно из тягчайших и стыдных воспоминаний.

Заседание кафедры. Критикуют доцента Розина. Не помню, за что. Кажется, за космополитизм. Выступают Андреева, Лазутин, Луценко. Лазутин наклоняется ко мне, говоря: «Вы тоже должны выступить». А я — я ведь живу «с перепуганной душой» (М. Зощенко) — сама не знаю почему, вероятнее всего, от желания к кому-то примкнуть, тоже вякаю некие невразумительные слова о том, что так нельзя преподавать. Произношу их и ощущаю сухость во рту, смутную тревогу по поводу сделанного, противно сосет под ложечкой.

Страх искажает естественную природу человека, как болезнь. Петр отрекся от Иисуса из чувства страха. Счастлив тот, кто его не ведает. Это — герой. Вспоминается обмен многозначными репликами в пьесе Б. Брехта «Галилео Галилей» в той ситуации, когда ученый только что отрекся от своего учения. На реплику одного из учеников: «Несчастлива та страна, в которой нет героев», — отвечает: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях».

Привожу эти слова не с целью самооправдания, а просто — как повод для размышления.

Заседание кафедры затянулось. Но отдохнуть и одуматься некогда: надо готовить завтрашнюю лекцию. Сервантес. Ночью что-то набрасываю себе на маленьких листочках. Ни почитать роман, ни продумать нет ни времени, ни сил. На следующее утро на лекцию является Елизавета Павловна. Конечно, я прочитала неважно. Однако тот разнос, которому меня подвергли, своей не просто прямоотой, а жестокостью превосходил все мыслимое. Елизавета Павловна сказала, что лекция не удалась, что я никогда не буду хорошим лектором, а, главное, я совершила непоправимый поступок, не назвав тургеневскую статью о Гамлете и Дон Кихоте. Это в пору борьбы с космополитизмом, когда пренебрежение отечественной наукой считалось чуть ли не преступлением!

Потом-то я поняла, что реакция Андреевой на меня была обыкновенной женской ревностью. Едва ли она почувствовала во мне соперницу. Ее собственный, как бы сейчас сказали, рейтинг в ту пору был весьма высок. И начальство ее читло. И студенты почитали. Но ведь я была моложе, а это кое-что значит. Мне рассказывали, что некоторые коллеги, наблюдая за ее реакцией на меня, бились об заклад: выживет она меня или нет. Рассказывали, что, говоря обо мне, она всех спрашивала: «Правда, она некрасивая?» Но тогда, после лекции, ни о чем таком я не знала и не думала...

Убитая, уничтоженная, машинально направляюсь к почтамту. Писем из Москвы нет. Отчетливо чувствую, что больше не могу. Не могу жить. Ясный сентябрьский день. Почти летний. Солнышко греет. Воздух прозрачный. На проспекте своя жизнь... А я хочу умереть. В голове созревает план, как я смогу осуществить это желание. Трезво все продумываю. Еще сохранилась веревка от багажа. Ее можно привязать к крюку, поддерживающему стоек отопления... Если сесть, накинутая петля затянется... И дело с концом... Машинально, по обретенной уже привычке, от почтамта (он тогда располагался в здании сегодняшнего телеграфа) по проспекту, мимо разрушенных домов, в первых этажах которых ютятся какие-то лавочки, направляюсь к банку. На первом этаже там находился главный универмаг. Перехожу на противоположную сторону: кафе «Красный мак» (это на месте современного стеклянного здания «Пролетария»). Решение принято. Все вокруг видится особенно отчетливо, укрупнено, потому что — в последний раз. Застревает в памяти яркий свет солнца, тележка с газировкой возле «Пролетария». Под

струей бьющей вверх воды продавщица моет стакан. Медленно из длинного цилиндра поступает в стакан сироп. В него наливается газированная вода. Шипит. Кто-то пьет. Иду дальше. Опять мимо полуразваленных домов. У ДКА сидящие на ступенях или на низких сиденьях бабы продают какие-то удивительно безобразные букеты. Башни из цветов. Конусообразные. От узкого верха расширяются книзу. В середине — яркий георгин — центр всей композиции, вокруг него — цветы помельче. Никогда таких не видела. Все это вижу, но как-то отрешенно. Сторонние впечатления не заслоняют главного устремления, а только сопровождают его.

Вдруг слышу, меня окликают. Останавливаюсь, все еще плохо понимая, что происходит. Сергей Георгиевич Лазутин. Предлагает мне вместе пообедать в кафе возле ДКА. Понял ли он, что со мной, или это была случайная встреча? Не знаю. Никогда с ним об этом не разговаривала. Мы вообще никогда не были близки. Но в этот раз он, похоже, спас меня. После обеда и совсем незначащего разговора я отправилась домой уже не в таком абсолютном отчаянии, с каким я шла до этого. Я совсем не уверена, что осуществила бы свое намерение без этого обеда. Но факт остается фактом. Рук я на себя не наложила.

Для мрачного состояния духа в эту пору было много причин. Отзывалась перегрузка. Готовила лекции по ночам, разрешая себе спать не более четырех часов. Исключение составляли две ночи в неделю: на четверг (день без лекций) и на воскресенье. Чтобы не спать, травила себя каким-то средством под названием фенамин. Сначала его продавали в аптеке без рецепта. Потом перестали. Средство замечательное! Примешь таблетку, и сна как не бывало. И на утреннюю лекцию бодрости хватает. Зато потом наступает невероятная усталость. Иногда ночью, если без таблетки, засыпала прямо за столом с бумагами. Научилась пить очень крепкий чай. Был случай, когда сидя заснула так крепко, что стоявший на плитке чайник полностью выкипел, а к находившемуся на нем чайнику для заварки прочно прикипели чайники. Не лопнул, но отдирать пришлось долго.

Однажды во время одного из таких трудовых ночных бдений слышу в коридоре какой-то шум, грубые голоса, женские вопли... Открываю дверь. Из комнаты против лестницы два человека в военной форме уводят мужчину. За ним с рыданием устремляется женщина, в халате, надетом на ночную рубашку, нечесаная, видимо, на сносях... Кто-то, невидимый, подходит к моей двери, заслоненный ею. Слышу: «Гражданка, закрой дверь!» И сам ее захлопывает. Понимаю, что арестовали человека. Сосет под ложечкой. Возвращаюсь к столу. Но заниматься дальше не могу, а завтра лекция! Были ли, кроме меня, еще свидетели этой сцены, не знаю. Назавтра никто ни слова об этом не проронил.

Невеселое время! А если к этому добавить еще условия общежитийного быта... Огромная пустая комната. Посредине под потолком лампа на длинном шнуре, без всякого абажура, голая. Шнур с помощью веревки привязан к отопительному стояку, чтобы лампочка поместилась над столом. Огромные окна без штор. Из них постоянно дует. Здание было кое-как восстановлено после войны. Между стеной и окном огромные щели, иногда в палец толщиной. Пытаюсь их как-то заделать. Но ведь тут у меня ничего нет, ни ваты, ни даже лишней тряпки. Затыкаю свернутыми в жгуты газетами. Стужа все равно проходит сквозь эти затычки. Зима стоит холодная. По ночам оставленная в чайнике вода замерзает. Пользуюсь электрической плиткой, хотя это запрещено. Внизу стоит титан с кипятком, но к нему всегда очередь из студентов. Да и вода там всегда почему-то не совсем горячая. Пришедший ко мне ставить ограничитель электрик, видимо, пожалел меня, сделав так, чтобы я все-таки могла включать плитку. Ночью, когда я занимаюсь, она горит, днем я должна ее прятать. По ночам сплю, накинув на себя поверх одеяла зимнее пальто, свертываюсь в комочек, чтобы не растерять накопленного днем



А.Б. Ботникова с коллегами-филологами А.И. Чижик-Полейко, А.Т. Абрамовой и А.М. Абрамовым (слева направо). 1950-е годы

тепла. После приема фенамина засыпаю с трудом. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, читаю себе стихи. Все, которые приходят на память.

Грустное и неудобное бытие, что и говорить. И при всем этом еще и «удобства», сейчас невообразимые, но тогда почти само собой разумеющиеся. В общежитии все общее: умывальник, душ и прочее. Раз в неделю работает душ. Работает плохо. Кабинки отделены одна от другой липкими, осклизлыми стенами. Прежде чем войти в кабинку, жду, пока ее освободят. Мыло и губку положить некуда. Вода из душа течет вкривь, и надо еще ухитриться, чтобы попасть под струю. А главное — мучительна эта необходимость мыться вместе с собственными студентками. Осматривают. Оценивают. И деваться некуда. Стараюсь идти ночью, когда поменьше народа. Стираю тоже по ночам, развешивая нехитрые вещички прямо в комнате. А по утрам глажу, чтобы блузка была чистой. Только я знаю, чего это стоит. Но стараюсь держать форму.

Каждая лекция — и пытка, и испытание. Вдруг освищут. Глаза студентов внимательные, но холодные. Воспринимают или не воспринимают то, что я рассказываю, нравится или нет — не пойму. Только бы продержаться до звонка... А его все не дают... Беда, что у меня нет наручных часов... Никогда не знаешь, когда же, наконец, кончится лекция... В Москве я купила себе небольшой будильник. Им пользуюсь дома. На лекции брать не решаюсь. Помню случай. Подготовила лекцию о Голсуорси. Казалось, хватит на два часа с лихвой. Произношу последнюю фразу. Звонка нет. Спрашиваю у студентов, сколько осталось... Еще целых пятнадцать минут... А у меня ничего наперед не готово. Кошмар. На свой страх и риск, по памяти, рассказываю о Киплинге. Сходит. Наконец, долгожданный звонок... И так каждый раз. Вхожу в аудиторию, преодолевая не просто волнение, а животный страх. Это сейчас мне ничего не стоит удлинить или укоротить рассказ. Могу быстро овладеть слушателями, заставить себе вникать. И то, начиная курс, все равно испытываю старое волнение.

Часы купила себе только через полгода. Немецкие, штампованные. Прослужили недолго. Среди студентов много взрослых. Некоторые пришли с войны, по отношению к молодой преподавательнице настроены критически. А я, и вправду,

знаю очень мало. Лекция о Джеке Лондоне. Говорю о разных периодах его творчества, называю какие-то произведения. Вдруг вопрос: «К какому периоду относится роман «Маленькая хозяйка большого дома»? А у меня об этой злосчастной «хозяйке» — никакого представления, и я еще не готова признаться в том, что не знаю. Лепечу что-то наугад. Как ни странно, потом выясняю, что попала в точку. Или еще один случай. Не помню, по какому поводу, но черт дернул меня произнести слово «сублимация». Встает с места небольшого роста студент в солдатской гимнастерке и наставительным тоном заявляет, что я слишком часто употребляю иностранные слова, что слово «сублимация» ему не известно, что засорять русский язык нельзя... От испуга никак не могу найти русский синоним к слову. Ведь борьба с космополитизмом еще не кончилась, и все западное вызывает подозрение. Может быть, здесь и из-за этого возникло у меня ощущение (кстати, продолжающееся и по сию пору), что в университете я — падчерица. И предмет, который я преподаю, несколько сомнительный и уж, во всяком случае, не такой важный, как другие.

Немудрено, что в первые годы я живу в Воронеже с настроением человека, отправленного в длительную командировку. Где-то есть дом, а пока приходится терпеть неуютство, неудобства, тяготы жизни. «Иосиф, сосланный в Египет, не мог сильнее тосковать». Остается только писать письма и ждать ответы. Как только выдается маленькая возможность, устремляюсь в Москву. На три дня, на пять, а если каникулы — то и на более долгое время. Передышка!

Дорога в Москву известна как пять пальцев. Вокзал — поезд — вагон (№ 6, купейный). В вагоне приглушенный свет, запах плохо промытого туалета, перестук колес, звук хлопающих дверей, мелькание фонарей за окном, потом черная глубина ночи. А утром — Москва. Все хорошо знакомо. Дом, мама, друзья. Библиотечные залы с характерным шелестом перелистываемых страниц. Иногда театры. Все свое, родное.

А потом опять — тот же поезд, но в обратном направлении. Приближаясь утром к городу, неизменно, снова и снова наблюдаю «чреду бегущих по небу берез» и других деревьев, столбов, мостов, кружевных конструкций электропередач, домов. Все это пробегает мимо, я возвращаюсь в Воронеж...

Печальные страницы жизни прочнее задерживаются в памяти. Но все-таки, наверное, не все уж было таким беспросветным. После первых дней, недель, а может быть, и месяцев начинаю постепенно осваиваться. Завожу небольшое хозяйство. В универмаге «под банком» (его обычно так и называли) покупаю необходимую посуду: две чешские фарфоровые чашки с нарисованными цветами яблони, такой же чайник, два прибора — ножи и вилки. Уже могу кого-нибудь пригласить на чай...

В качестве курьеза замечу, что тогда же в универмаге впервые увидела холодильник. О существовании этого аппарата нам было неизвестно. Зимой хранили продукты в сумке за форточкой; летом ставили в тазик с холодной водой. Подумать только, как изменился быт за эти годы! На протяжении одной жизни. Начинала писать железным пером № 84, а сейчас пользуюсь компьютером. А были ведь еще перьевые ручки, шариковые, гелевые. Время идет...

Постепенно обживаюсь. Посещаю театр драмы. Хорошая труппа. Умная режиссура. Эстетика мхатовская, реалистическая. Другой тогда просто не было. Но актеры были хорошие: Папов, Рощина, Шкурский, Поляков, Полинский, две соперничающие молодые актрисы — любимицы публики — Роза Матюшкина и Кира Федорова.

Театр в ту пору занимал несколько иное место, чем в наши дни. Премьерные спектакли собирали всегда одну и ту же публику. Было много университетских. Поход в театр обязывал к тому, чтобы одеться понарядней. В театре снимали ре-

зиновые ботики или галоши. В гардеробе внизу существовали для них специальные деревянные ячейки. Сейчас по старой памяти, я бываю на премьерях. Гардеробщицы порой не берут даже шапок, не говоря уж об обуви. Да и публика не стремится ее менять. Дамы спокойно шествуют в уличных сапогах, мужчины — в отнюдь не театральной обуви на толстой подошве. Лиц знакомых все меньше. И театров стало много. И телевизор — в каждом доме. А сравнение со столичными постановками часто не в пользу местных. Советовать бесполезно. *Tempora mutandum* — времена меняются, это знали еще в древности.

А еще была филармония — небольшое здание, приютившееся среди развалин главной улицы города. Она размещалась тогда где-то по соседству с современным ЦУМом. Помещение было тесным. Но акустика в зале, как ни странно, хорошая. В Воронеж приезжали все прославленные музыканты и чтецы. Билеты были недорогими, публика устойчивая. По крошечному фойе ритуально ходили парами, образуя что-то вроде хора, кланялись направо и налево, улыбаясь знакомым, обменивались впечатлениями. Гастролеры были первоклассные. По несколько раз приезжали Гилельс, Флиер, Ойстрах, несколько позже — Шостакович и Ростропович. Правда эти, последние играли уже в других залах (позже филармонию перевели в здание, где сейчас ТЮЗ). Культурная жизнь в городе была довольно насыщенной. Вспоминаются еще великолепные концерты, даваемые мастерами художественного слова. В Воронеже выступал тонкий интерпретатор русской лирики — Дмитрий Николаевич Орлов, иронично подавал сказки «Тысячи и одной ночи» и новеллы «Декамерона» Сурен Кочарян и др. Так что не все было так уж мрачно.

С первых же дней появляются новые знакомые. Все живем по соседству, в общежитии. Сначала знакомлюсь со Светланой Георгиевной Фирсовой. Она лингвист. Я помню ее еще по Московскому университету. Знакомы мы не были, но часто сталкивались в тех местах, где бывали московские аспиранты. Это — университет и Ленинка. У Светланы в Москве муж, поэтому ясно, что в Воронеже она недолгий гость. Подружилась с историками. Факультет тогда был объединенный — историко-филологический. В одном общежитии со мной жили две супружеские пары: Владимир Аронович Дунаевский и Елена Викторовна Чистякова, как и я, приехавшие после аспирантуры Московского университета. И Анна Николаевна и Анатолий Евсеевич Москаленко. Он тоже — москвич, медиевист, кажется, ученик Грацианского, она археолог, окончила Ленинградский университет.

Дунаевские были очень заметной и очень красивой парой. Оба высокие, стройные. Он с правильными чертами лица, голова благородной посадки, высокий лоб и волнистые пепельного цвета волосы. Классическая красота. Она — красавица, с негой во всей повадке. Таких любили изображать художники «серебряного века», таковы были героини курортных новелл С. Цвейга. При этом оба деловые, целеустремленные, прошедшие хорошую школу и нацеленные на настоящую научную работу.

Муж и жена Москаленко были несколько иными. Анна Николаевна — способный археолог, тоже рано занялась научными изысканиями, раскапывая разные древние городища в Воронежской области. Анатолий Евсеевич — человек увлекающийся, даже, пожалуй, азартный. Он долго не мог защитить диссертацию. Кажется, так и не дошел до докторской степени. Это не мешало ему, однако, быть человеком широко начитанным, интересным собеседником, любимцем студентов. Он был неизменно инициативен, активен, жизнерадостен и открыт людям.

Чуть позже приехала тоже из Ленинграда Зоя Николаевна Степанова. Специалист по Востоку, умная, тонкая, но крайне несчастная. Судьба жестоко обошлась с ней. Помимо физического изъятия, она еще многое претерпела в жизни: пережила сначала блокаду, а затем немецкую оккупацию. И кончила трагически.

Эти люди составляли мою компанию в первые годы воронежской жизни. С ними мы быстро перешли «на ты». Относились друг к другу весьма по-доброму. Вместе встречали праздники, дни рождения и пр. Но отношения были скорее приятельскими. Дружбой это, пожалуй, не назовешь. Большой близости не возникло, хотя, думаю, симпатия была обоюдной.

Объединяла и общая судьба, закинувшая всех в Воронеж. И отсутствие разницы в возрасте. Потом большинство из них обзавелось монографиями и научными степенями. А тогда все были молоды. Жизнь была впереди. Все усердно трудились над лекциями. Воронеж воспринимали как трамплин для обретения профессии. Насколько я понимаю, каждый как бы отбывал свой срок, совсем не намереваясь остаться тут на всю жизнь. Но к делу относились серьезно. И хотя многие потом уехали, их пребывание в университете не осталось бесследным.

Однажды наш известный литератор Олег Ласунский (он был когда-то моим студентом), узнав, как не хотела я ехать в Воронеж и как трудно осваивалась здесь, простодушно воскликнул: «Воронежу повезло!» Не берусь судить, насколько городу «повезло» именно со мной, но, думается, тот приток свежих сил, который совершился в конце 1940-х, способствовал развитию университета. Город был сильно потрепан войной. Были разрушены не только дома, недосчитывались многих людей... Столичный «десант» был просто необходим, как ни тяжело это порой было для его участников... Первой покинула Воронеж Елена Викторовна Чистякова, вскоре за ней последовал ее муж, а потом и супруги Москаленко...

А меня город так и не отпустил.